

Мать Мария Встречи с Блоком

Тридцать лет тому назад, летом 1906 года, в моей жизни произошло событие, после которого я стала взрослым человеком. За плечами было только четырнадцать лет, но жизнь того времени быстро выросла нас. Мы пережили японскую войну и революцию, мы были поставлены перед необходимостью спешно разобраться в наших детских представлениях о мире и дать себе ответ, где мы и с кем мы. Впервые в сознание входило понятие о новом герое, имя которому — Народ. Единственно, что смущало и мучило, — это необходимость дать ответ на самый важный вопрос: верю ли я в Бога? И есть ли Бог?

И вот, ответ пришёл. Пришёл с такой трагической неопровержимостью. Я даже сейчас помню пейзаж этого ответа... Рассвет жаркого летнего дня. Ровное румяное небо. Чёрные узоры овальных листьев акаций. Громкое чириканье воробьёв. В комнате плач.... УМЕР МОЙ ОТЕЦ!

И мысль простая в голове: «Эта смерть никому не нужна. Она несправедлива. Значит, нет справедливости. А если нет справедливости, то нет и справедливого Бога. Если же нет справедливого Бога, то значит, и вообще Бога нет».

Никаких сомнений, никаких доводов против такого вывода нет. Бедный мир, в котором Бога нет, в котором царствует смерть, бедные люди, бедная я, вдруг ставшая взрослой, потому что узнала тайну взрослых, что Бога нет и что в мире есть горе, зло и несправедливость. ТАК КОНЧИЛОСЬ ДЕТСТВО!

Осенью я впервые уехала надолго от Чёрного моря, от юга, солнца, ветра, свободы.

Первая зима в Петербурге.

Небольшая квартира в Басковом переулке.

Гимназия.

Утром начинаем учиться при электрическом свете, и на последних уроках тоже лампы горят.

На улицах рыжий туман.

Падает рыжий снег.

Никогда, никогда нет солнца.

Родные служат панихиды, ходят в трауре.

В панихидах примиренность, а я мириться не хочу, да и не с кем мириться, потому что ЕГО НЕТ. Если можно было ещё сомневаться и колебаться дома, то тут-то... в этом рыжем тумане. В этой проклятой осени, никаких сомнений нет.

Крышка неба совсем надвинулась на этот город-гроб.

А за ней — пустота.

* * *

Я ненавидела Петербург. Мне трудно заставить себя учиться. Вместо гимназии я отправилась бродить далеко через Петровский парк, на свалку, мимо голубинового стрельбища. Самая острая тоска за всю жизнь была именно тогда. И душе хотелось подвига, гибели за всю неправду мира, чтобы не было этого рыжего тумана и бессмыслицы.

В классе моём увлекались Л. Андреевым, Комиссаржевской, Метерлингом. Я мечтала встретить настоящих революционеров, которые готовы каждый день пожертвовать своей жизнью за народ. Мне, кстати, случалось встречаться с какими-то маленькими партийными студентами. Но они не жертвовали жизнью, а рассуждали о прибавочной стоимости, о капитале, об аграрном вопросе.

Это сильно разочаровывало.

Я не могла понять, отчего политическая экономия вещь более увлекательная, чем счета с базара, которые приносит моей матери кухарка Аннушка.

Белые ночи оказались ещё более жестокими, чем чёрные дни. Я бродила часами, учиться было почти невозможно, писала стихи, места себе не находила. Смысла не было не только в моей жизни, во всём мире безнадежно утрачивался смысл.

Осенью опять рыжий туман...

Родные решили выбить меня из колеи патетической тоски и веры в бессмыслицу. Была у меня двоюродная сестра, много старше меня. Девушка положительная, весёлая, умная. Она кончала медицинский институт, имела социал-демократические симпатии и совершенно не сочувствовала моим бредням. Я была для неё «декадентка». По доброте душевной она решила заняться мной. И заняться не в своём, а в моём собственном духе.

Однажды она повезла меня на литературный вечер какого-то захолустного реального училища, куда-то в Измайловские роты.

В каждой столице есть своя провинция, так вот тут была своя измайловско-ротная, реального училища — провинция. В рекреационном зале много молодого народу. Читают стихи поэты-декаденты. Их довольно много. Один высокий, без подбородка, с огромным носом и с прямыми прядями длинных волос, в длиннополом сюртуке, читает весело и шепеляво. Говорят это Городецкий. Другой — Дмитрий Цензор, лицо не запомнилось. Еще, какие-то, не помню.

И ещё один.

Очень прямой, немного надменный, голос медленный, усталый, металлический.

Тёмно-медные волосы, лицо не современное, а будто со средневекового надгробного памятника, из камня высеченное, красивое и неподвижное.

Читает стихи, очевидно новые... «по вечерам, над ресторанами», «Незнакомка»... и ещё читает.

В моей душе — огромное внимание. Человек с таким далёким, безразличным, красивым лицом. Это совсем не то, что другие. Передо мной что-то небывалое, головой выше всего, что я знаю. Что-то отмеченное... В стихах много тоски, безнадёжности, много голосов страшного Петербурга, рыжий туман, городское удушие. Они не вне меня, они поют во мне самой, они как бы мои стихи. Я уже знаю, что ОН владеет тайной, около которой я брожу, с которой почти сталкивалась столько раз во время своих скитаний по островам этого города.

Спрашиваю двоюродную сестру: «Посмотри в программе — кто это?»

Отвечает: «Александр Блок».

* * *

В классе мне достали книжечку. На первой странице картинка — молодой поэт, вырывается на какие-то просторы. Стихи непонятные, но пронзительные, — от них никуда мне не уйти. «Убей меня, как я убил когда-то близких мне. Я всё забыл, что я любил, я сердце вьюгам подарил...»

Я не понимаю... но и понимаю, что он знает мою тайну. Читаю всё, что есть у этого молодого поэта. Дома окончательно выяснено: я — декадентка. Я действительно в небывалом мире. Сама пишу, пишу о тоске, о Петербурге, о подвиге, о народе, о гибели, ещё о тоске и... о восторге!

Наконец, всё прочитано, многое запомнилось наизусть, НАВСЕГДА. Знаю, что он мог бы мне сказать почти заклинание, чтобы справиться с моей тоской. Надо с ним поговорить. Узнаю адрес: Галерная, 41 кв. 4.

ИДУ!

ДОМА НЕ ЗАСТАЛА.

ИДУ ВТОРОЙ РАЗ.

НЕТУ.

На третий день, заложив руки в карманы, распустив уши своей финской шапки, иду по Невскому.

Не застаю, — дождусь. Опять дома нет. Ну, что ж, решено, буду ждать. Некоторые подробности квартиры удивляют. В маленькой комнате почему-то огромный портрет Менделеева. Что он, химик, что ли? В кабинете вещей немного, но всё большие вещи. Порядок образцовый. На письменном столе почти ничего не стоит.

Жду долго. Наконец звонок. Разговор в передней.

ВХОДИТ БЛОК.

Он в чёрной широкой блузе с отложным воротником, совсем такой, как на известном портрете. Очень тихий, очень застенчивый.

Я не знаю с чего начать. Он ждёт, не спрашивает, зачем пришла. Мне мучительно стыдно, кажется всего стыднее, что, в конце концов, я ещё девочка, и он может принять меня не всерьёз. Мне скоро будет пятнадцать, а он уже взрослый, — ему, наверное, двадцать пять. (При встрече Лизе Пилленко было не полных шестнадцать, а А. Блоку двадцать восемь.)

Наконец, собираюсь с духом, говорю всё сразу. «Петербурга не люблю, рыжий туман ненавижу, не могу справиться с этой осенью, знаю, что в мире тоска, брожу по островам часами, и почти наверное знаю, что Бога нет». Всё это одним махом выкладываю.

Он спрашивает, отчего я именно к нему пришла? Говорю о его стихах, о том, как они просто вошли в мою кровь и плоть, о том, что мне кажется, что у него ключ от тайны, прошу помочь.

Он внимателен, почтителен и серьёзен, он всё понимает, совсем не поучает и, кажется, не замечает, что я не взрослая.

Мы долго говорим. За окном уже темно. Вырисовываются окна других квартир. Он не зажигает света. Мне хорошо, я дома, хотя многого не могу понять. Я чувствую, что около меня большой человек, что он мучается больше, чем я, что ему ещё тоскливее, что бессмыслица не убита, не уничтожена. Меня поражает его особая внимательность, какая-то нежная бережность. Мне этого БОЛЬШОГО ЧЕЛОВЕКА ужасно жалко. Я начинаю его осторожно утешать, утешая и себя одновременно.

Странное чувство. Уходя с Галерной, я оставила часть души там.

Это не полудетская влюблённость и забота. А наряду с этим сердцу легко и радостно. Хорошо, когда в мире есть такая большая тоска, большая жизнь, большое внимание, большая, обнажённая, зрячая душа.

Через неделю получаю письмо, КОНВЕРТ НЕОБЫЧАЙНЫЙ, ЯРКОСИНИЙ.

Почерк твёрдый, не очень крупный, но широкий, щедрый, широко расставлены строчки. В письме есть стихи: «Когда Вы стоите передо мной... Всё же я смею думать, что Вам только пятнадцать лет». Письмо говорит об умерших, что ему кажется, что я ещё не с ними, что я могу найти какой-то выход, может быть с природой, в соприкосновении с народом: «Если не поздно, то бегите от нас умирающих». Письмо из Ревеля, — уехал гостить к матери.

Не знаю, отчего я негодую. Бежать — хорошо же. Рву письмо, и синий конверт рву. Кончено. Убежала. Так и знайте, Александр Александрович, человек, всё понимающий, понимающий, что значит бродить без цели по окраинам Петербурга и что значит видеть мир, в котором Бога нет.

Вы умираете, а я буду бороться со смертью, со злом, и за Вас буду бороться, потому что у меня к Вам жалость, потому что Вы вошли в моё сердце и не выйдете из него никогда.

* * *

Петербург меня, конечно, победил.

Тоска не так сильна.

Годы прошли.

В 1910 году я вышла замуж. Мой муж их петербургской семьи, друг поэтов, декадент по своему существу, но социал-демократ, большевик. (Лиза Пиленко венчалась 19 февраля 1910 г. с Д. В. Кузьминым-

Караваемым в церкви Рождества Богородицы, Казанская ул. 27) Семья профессорская, в ней культ памяти Соловьёва и милые житейские анекдоты о нём.

Ритм нашей жизни нелеп. Встаём около трёх дня, ложимся на расвете. Каждый вечер с мужем бываем в петербургском МИРЕ. Или у Вячеслава Иванова на «Башне», куда нельзя приехать раньше двенадцати часов ночи, или в «Цехе поэтов», или у Городецкого, и т. д.

Непередаваем этот воздух 1910 года. Думаю, не ошибусь, если скажу, что культурная, литературная, мыслящая Россия была совершенно готова к войне и революции.

В этот период смешалось всё. Апатия, уныние, упадочничество — и ЧАЯНИЕ НОВЫХ КАТАСТРОФ и сдвигов. Мы жили среди огромной страны, словно на необитаемом острове. Россия не знала грамоту, — в нашей среде сосредоточилась вся мировая культура. Цитировали наизусть греков, увлекались французскими символистами, считали скандинавскую литературу своею, знали философию и богословие, поэзию и историю всего мира. В этом смысле МЫ были гражданами вселенной, хранителями культурного великого музея человечества. Это был Рим времён упадка!

МЫ не жили, МЫ созерцали всё самое утончённое, что было в жизни, МЫ не боялись никаких слов, МЫ были в области духа циничны и нецеломудренны, а в жизни вялы и бездейственны. В известном смысле мы были, конечно, революция до революции — так глубоко, беспощадно и гибельно перекапывалась почва старой традиции, такие смелые мосты перебрасывались в будущее. И вместе с тем эта глубина и смелость сочетались с неизбежным тлением, с духом умирания, призрачности, эфемерности. Мы были последним актом трагедии — разрыва народа и интеллигенции. За нами простиралась снежная всероссийская пустыня, скованная страна, не знающая ни наших восторгов, ни наших мук, не заражающая нас своими восторгами и муками.

Помню одно из первых наших посещений «Башни» Вячеслава Иванова. Вся Россия спит. Полночь. В столовой много народа. Наверное, здесь нет ни одного обывателя, человека вообще или просто человека. Мы не успели ещё со всеми поздороваться, а уже Мережковский кричит моему мужу: — «С кем Вы — с Христом или с антихристом?!» И спор продолжается. Я узнаю, что Христос и революция неразрывно связаны, что Революция — это раскрытие Третьего Завета. Слышу бесконечный поток последних серьёзнейших слов. Передо мной как бы духовная обнажённость, всё наружу, всё почти бесстыдно. Потом Кузьмин поёт под собственный аккомпанемент духовные стихи. Потом разговор о греческих трагедиях, об «оркестре», о Дионисе, о православной Церкви. На рассвете поднимаемся на крышу, на «Башне» это тоже в порядке времяпрепровождения. Внизу Таврический сад и купол Государственной думы. СОННЫЙ, СЕРЫЙ ГОРОД.

Утром приносят новый самовар, едят яичницу. Пора домой. По сонным улицам мелкой рысцой бежит извозчичья лошадь.

Какое-то пьянство без вина.

Пища, которая не насыщает.

Опять тоска.

НА ДУШЕ МУТНО!

И странно, — вот все были за Революцию, говорили самые ответственные слова. А мне ещё больше, чем перед тем, обидно за НЕЁ. Ведь никто, никто за неё не умрёт. Мало того, если узнают о том, что за неё умирают, постараются и это расценить, одобрят или не одобрят, поймут в высшем смысле, прокричат всю ночь — до утренней яичницы. И совсем не поймут, что умирать за революцию — это значит чувствовать настоящую верёвку на шее. Вот таким же серым и сонным утром навсегда уйти, физически, реально принять смерть. И жалко революционеров, потому что они умирают, а мы можем только умно и возвышенно говорить об их смерти.

И ещё мне жалко, — нет, не Бога, Его нету. Мне жалко Христа. Он тоже умирал, у НЕГО был кровавый пот, Его заушали, а мы можем об этом громко говорить, ведь у нас нет ни одного запретного слова. И если понятна ЕГО смерть за разбойников, блудниц и мытарей, то непонятна — за нас, походя касающихся ЕГО язв и не опаляющихся ЕГО кровью. Постепенно происходит деление. Христос, ещё не признанный, становится своим. Черта деления всё углубляется...

Петербург, «Башня» Вячеслава, культура даже, туман, город, реакция — всё одно и едино. А другое — огромный, мудрый молчащий и целомудренный народ, умирающая революция, почему-то Блок, и ещё Христос.

Христос — это наше... А чьё наше? Разве я там, где Он? Разве я не среди тех, кто произносит безответственные слова, которые начинают восприниматься как кощунство, как оскорбление, как смертельный яд? Надо бежать, освободиться. Но это не так-то легко. Жизнь идёт по своей колее, по «башенным» сборищам, а потом по «цехам», по «Бродячим Собакам».

«Цех поэтов» только что создался. В нём по-школьному серьёзно, чуть скучновато и манерно. Стихи там были разные. Начинали входить во славу Гумилёв и Ахматова. Он рыскал вне русской равнины, в чужих экзотических странах, она не выходила за порог душной заставленной бездушками комнаты. Ни с ним, ни с ней мне не по пути.

А гроза приближалась, Россия — немая и мёртвая. Петербург, оторванный от неё, — как бы оторванный от берега и обезумевшим кораблём мчавшийся в туманы и на гибель. Он умирал от отсутствия подлинности, от отсутствия возможности говорить просто и жить просто. Никакой вообще Революции и никаких революционеров в природе этого города не оказалось. А была только петербургская ночь.

Удушие. Рыжие туманы.

Тоска не в ожидании рассвета, а тоска от убеждения, что никакого рассвета уже никогда не будет.

Таков был фон, на котором происходили редкие встречи с Блоком.

Вся их серия, — второй период нашего знакомства.

* * *

Первая встреча в декабре (14 дек. 1910 года) на собрании, посвящённом десятилетию со дня смерти Владимира Соловьёва. Происходило оно в Тенишевском училище. Выступали Вячеслав Иванов, Мережковский, какие-то артистки, потом ещё кто-то и Блок.

На эстраде он был высокомерен, говорил о непонимании толпы, подчёркивал своё избранничество и одиночество. Сюртук застёгнут, голова высоко поднята, лицо красиво, трагично и неподвижно.

В перерыве мой муж ушёл курить. Скоро вернулся, чтобы звать меня знакомиться с Блоками, которых он хорошо знал. Я решительно отказалась. Он был удивлён, начал настаивать. Но я ещё раз заявила, что знакомиться не хочу, — и он ушёл. Я забила в глубину своего ряда и успокоилась.

Вскоре муж вернулся, но не один, а с высокой, полной и, как мне показалось, насмешливой дамой... и с Блоком. Прятаться я больше не могла. Надо было знакомиться. Дама улыбалась. Блок протягивал руку.

Я сразу поняла, что он меня узнал.

Он произнёс: «Мы с Вами встречались».

Опять я вижу на его лице знакомую, понимающую улыбку.

Он спрашивает, продолжаю ли я бродить. Как «справилась» с Петербургом.

Отвечаю невпопад. Любовь Дмитриевна приглашает нас обедать. Уславливаемся о дне.

Слава Богу, разговор кончается. Возобновляется заседание.

Потом мы у них обедали. (Обед состоялся 15 декабря у Блоков.) По ЕГО дневнику видно, что он ждал этого обеда с чувством тяжести. Я тоже. На моё счастье, там был ещё кроме нас очень разговорчивый Аничков с женой. Говорили об Анатоле Франсе. После обеда он показывал мне снимки Нормандии и Бретани, где он был летом. Говорил о Наугейме, связанном с особыми мистическими переживаниями, спрашивал о моём прежнем. Ещё мы говорили о родных пейзажах, вне которых нельзя понять до конца человека. Я говорила, что мой пейзаж — это зимнее бурное почти чёрное море, песчаные перекаты высоких пустынных дюн, серебряно-сизый камыш и крики бакланов.

Он рассказывал, что по семейным данным фамилия Блок немецкого происхождения, но, попав в Голландию, он понял, что это ошибка, что его предки именно оттуда, настолько в Голландии ему всё показалось родным и кровным. Потом говорили о детстве и о детской склонности к страшному и исключительному. Он рассказывал, как обдумывал в детстве пьесу. Ге-

рой в ней должен был покончить с собой. И он никак не мог остановиться на способе самоубийства. Наконец решил, что герой садится на ЛАМПУ и СГОРАЕТ. Я в ответ рассказывала о чудовище, которое существовало в моём детстве. ЗВАЛИ ЕГО — ГУМИСТЕРЛАП. Он по ночам вкатывался в мою комнату, круглый и мохнатый и исчезал за занавеской окна.

Встретились мы с Блоком как приличные люди, в приличном обществе. Не то что первый раз, когда я с улицы, из петербургского тумана, ворвалась к нему. Блок мог придти к нам в гости, у нас была масса общих знакомых, друзей, у которых мы тоже могли встретиться. Не хватало только какого-то одного и единственно нужного места. Я не могла непосредственно к нему обратиться, через и мимо всего, что у нас оказалось общим.

Так кончился 1910 год. Так прошли 11-й и 12-й годы. За это время мы встречались довольно часто, но всегда на людях.

На «Башне» Блок бывал редко. Он там, как и везде впрочем, много молчал. Помню, как первый раз читала стихи Анна Ахматова. Вячеслав Иванов предложил устроить суд над её стихами. Он хотел, чтобы Блок был прокурором, а он, Иванов, адвокатом. Блок отказался! Тогда он предложил Блоку защищать Ахматову, он же будет обвинителем.

Блок опять отказался!

Тогда уж только об одном, кратко выраженном, мнении стал он просить Блока.

Блок покраснел — он удивительно умел краснеть от смущения, — серьёзно посмотрел вокруг и сказал:

— Она пишет стихи как бы перед мужчиной, а надо писать как бы перед Богом.

Все промолчали. Потом начал читать очередной поэт.

Помню Блока у нас, на квартире моей матери, на Малой Московской. Народу много. Мать показывает Любовь Дмитриевне старинные кружева, которых у неё была целая коллекция. Идёт общий гул. За ужином речи. Я доказываю Блоку, что всё хорошо, что всё идёт так, как надо. И чувствую, что от логики моих слов с каждой минутой растёт и ширится какая-то только что еле зримая трещинка в моей собственной жизни...

Потом, помню ещё, как мы в компании Пяста, Нарбута и Моравской в ресторане «Вена» выбирали Короля Поэтов. Об этом есть в воспоминаниях Пяста. И этот период, не дав ничего существенного в наших отношениях житейских, сблизил нас, — скорее просто познакомил. То встреча у Аничковых, где подавали какой-то особенный салат из грецких орехов и омаров и где тогда же подавали приехавшего из Москвы Андрея Белого, только что женившегося. Его жена показывала, как она умеет делать «мост», а Анна Ахматова в ответ на это как-то по-змеиному выворачивала руки.

И, наконец, ещё одна встреча. Но тоже на людях. В случайную минуту, неожиданно для себя, говорю ему то, чего ещё и себе не смела определить и сказать:

— Александр Александрович, я решила уезжать отсюда, к земле хочу... Тут умирать надо, а ещё бороться хочу и буду.

Он серьёзно и заговорщицки отвечает:

— Да, да, пора. Потом уж не сможете. Надо спешить.

Вскоре ОН заперся у себя.

Это с ним часто бывало.

Не снимал телефонную трубку, писем не читал, никого к себе не принимал.

Бродил только по окраинам.

Некоторые говорили — пьёт.

Но мне казалось, что не пьёт, а просто молчит, тоскует и ждёт неизбежности. Было мучительно знать, что вот сейчас он у себя заперти — и ничем помочь нельзя.

Я действительно решила бежать окончательно весной вместе с обычным отъездом из Петербурга. Не очень демонстративно, без громких слов и истерик, никого не обижая.

Куда бежать? НЕ В НАРОД! Народ — было очень туманно. А к ЗЕМЛЕ!

Сначала просто будет нормальное лето на юге. Но осенью вместе со всеми не возвращаться в Петербург. Осенью на Чёрном море огромные, свободные бури. На лиманах можно охотиться на уток. Компания у меня — штукатур Леонтий, слесарь Шлигельмилх, банщик Винтура. Скитаемся в высоких сапогах по плавням. Вечером по морскому берегу домой. В ушах вой ветра, свободно, легко. Петербург провалился. ДОЛОЙ КУЛЬТУРУ, ДОЛОЙ РЫЖИЙ ТУМАН. Долой «Башню» и философию. Есть там только один заложник. Это человек, символ страшного мира, точка приложения всей муки его, единственная правда о нём, а может быть, и единственное, мукой купленное, оправдание его — АЛЕКСАНДР БЛОК.

* * *

Осенью 13-го года по всяким семейным соображениям надо ехать на север, но в Петербург не хочу. Если уж это неизбежно, буду жить зимой в Москве, а ранней весной назад, к земле. Кстати, в Москве я никого почти не знаю, кроме кое-каких старых знакомых моей матери. Первое время Москва действительно не отличается от южной жизни. В моей жизни затишь, «пересадка». Поезда надо ждать, неопределённо долго. Жду.

Месяца через полтора после приезда случайно встречаю на улице первую петербургскую знакомую, Софью Исаковну Толстую. Она с мужем (писатель Алексей Толстой) тоже переехала в Москву, живут близко от меня, на Зубовском бульваре. Зовёт к себе. В первый же вечер всё петербургское, отвергнутое, сразу нахлынуло. Правда, в каком-то ином, мос-

ковском виде. Я сначала стойко держусь за свой принципиальный провинциализм, потом медленно начинаю сдавать. Вот и первая общая поездка к Вячеславу Иванову. Еду в боевом настроении. В конце концов, всё скажу, объявлю, что я враг, и всё тут.

У него на Смоленском всё тише и мельче, чем было на «Башне», он сам изменился. Лунное не так заметно, а немецкий профессор стал виднее. Уж не так сияющий ореол волос, а медвежьих глазки будто острее. Народу, как всегда, много. Толкуют о Григории Нисском, о Пикассо, ещё о чём-то. Я чувствую потребность борьбы.

Иванов любопытен почти по-женски. Он заинтересован, отчего я пропадала, отчего и сейчас я настороже. Ведёт к себе в кабинет. БОЙ НАЧИНАЕТСЯ!

Я не скрываю, наоборот, сама первая начинаю. О пустословии, о предании самого главного, о пустой жизни, о том, что я с землёй, с простыми русскими людьми, с русским народом, что я отвергаю ИХ ПАДШУЮ КУЛЬТУРУ, и что ОНИ ОТОРВАНЫ ОТ НАРОДА, что народу нет дела до их изысканных и неживых душ, даже о том, что они ответят за ГИБЕЛЬ БЛОКА.

Вячеслав Иванов очень внимательно меня слушает. Он всё понимает, он со всем соглашается. Более того, я чувствую в его тоне попытку отпустить меня и благословить на этот путь. Но я ведь ни отпуска не прошу, ни благословения не хочу. Разговор обрывается.

Вскоре опять, 26 ноября 1913 года, мы вместе с Толстыми у В. Иванова на Смоленском.

Народу мало, против обыкновения. Какой-то мне неведомый поэт, по имени Валериан Валерианович (потом узнала, — Бородаевский), с длинной, узкой чёрной бородой, только что приехал из Германии и рассказывает о тоже мне неведомом Рудольфе Штейнере.

Хозяин слушает его с таким же благожелательным любопытством, как слушает вообще всё. Для него рассказ в основных чертах не нов, поэтому он спрашивает больше о подробностях, о том, как там Белый, Волошин и т. д. Оттого, что о главном мало речи, я не могу окончательно уловить, в чём дело. Но у меня не осознанный, острый протест. Я возражаю, спорю, не знаю даже, против чего именно я спорю. Но странно, сейчас я понимаю, что тогда основная интуиция была верной. Я спорила против обожествления и абсолютизации человеческой природной силы. В нелепом, приблизительном споре я вдруг чувствую, что всё это не случайно, что борьба у меня идёт каким-то образом за Блока, что тут для него нечто более страшное, чем враг из безличного становится личным. Поздно вечером уходим с Толстым. Продолжаем говорить на улице. Сначала это спор. Потом просто моя декламация о Блоке. И мы уже с Толстым не домой идём, а скитаемся по снежным сугробам на незнакомых, пустых улицах. Я говорю громко, в снег, в ночь, вещи для самой пронзительные и решаю-

щие: «У России, у нашего народа родился такой ребёнок. Такой же мучительный и на неё похожий. Ну, мать безумна, а мы все её безумием болыны. Но сына этого она нам на руки кинула, и мы должны его спасти, мы за него отвечаем. Как его в обиду не дать, — не знаю, да и знать не хочу, потому что не своей же силой можно защитить человека. Важно только, что я вольно и свободно свою душу даю на его защиту».

Через четыре дня после этой ночи, 1-го декабря, я неожиданно получила письмо в ярко-синем конверте! Как всегда в письмах Блока, ни объяснений, почему он пишет, ни обращений «глубокоуважаемая» или «дорогая». Просто имя и отчество, и потом как бы отрывок из продолжающегося разговора между нами: «...Думайте сейчас обо мне, как и я о Вас думаю... Силы уходят на то, чтобы преодолеть самую трудную часть жизни — СЕРЕДИНУ ЕЁ... Я перед Вами не лгу... Я благодарен Вам...»

Может быть, сейчас мне трудно объяснить, отчего это короткое и не очень отчётливое письмо так потрясло меня. Главным образом, пожалуй, потому, что оно было ответом на мои восторженные ночные мысли, на мою молитву о нём.

Я ему не ответила. Да и что писать, когда он и так должен знать и чувствовать мой ответ? Вся дальнейшая зима прошла в мыслях о его пути, в предвидении чего-то губельного и страшного, к чему он шёл. Да и не только он, — всё уже смешивалось в общем, вихре. Казалось, что стоит какому-нибудь голосу крикнуть, — и России настанет конец.

* * *

Опять юг.

Весной 14-го года во время бури на Азовском море погрузились на дно две песчаные косы с рыбацкими посёлками. В это время у нас на черноморском побережье земля стонала. Мне рассказывали охотники, как они от этих стонов бежали с лиманов и до поздней ночи провожали друг друга, боясь остаться наедине со страждущей землёй. А летом было затмение солнца. От него осталось только пепельно-серебристое кольцо. Запылали небывалые зори, — не только на востоке и на западе, — весь горизонт загорелся зарёй. Выступили на пепельно-сером небе бледные звёзды. Скот во дворе затревожился, — коровы мычали, собаки лаяли, стал кричать петух, куры забрались на насесты спать.

Потом наступили события, о которых все знают, — мобилизация, война.

Душа приняла войну. Это был не вопрос о победе над немцами, немцы были почти ни при чём. Речь шла о народе, который вдруг стал живой единой личностью, с этой войны он в каком-то смысле начинал свою историю. Мы слишком долго готовились к отплытию, слишком истомились ожиданием, чтобы не радоваться наступившим срокам.

Брат ночью пришёл ко мне в комнату, чтобы сообщить о своём решении, — идёт добровольцем. Двоюродные сёстры спешили в Петербург

поступать на курсы сестёр милосердия. Первое время я не знала, что делать с собой, сестрой милосердия не хотела быть, — казалось, надо что-то другое найти и осуществить. Основное — как можно дольше не возвращаться в город, как можно дольше пробыть одной, чтобы обдумать, чтобы по-настоящему всё понять.

Так проходит мучительная осень. Трудно сказать, что дала она мне, — но после неё всё стало твёрже и яснее. И особенно твёрдо сознание, что наступили последние сроки. Война — это преддверие конца. Прислушаться, присмотреться, уже вестники гибели и преобразования среди нас.

Брат мой воевал добровольцем где-то на Бзуре. Мать не хотела оставаться одна в Петербурге, — мне пришлось ехать к ней.

Поезд нёсся по финским болотам среди чахлой осины и облетевших берёз.

Небо темно.

Впереди чёрная завеса копоти и дыма.

Пригород. Казачьи казармы. И Николаевский вокзал.

ЕДУ И ДУМАЮ... «К Блоку пока ни звонить не буду, не напишу и уж конечно не пойду. И вообще сейчас надо своим путём в одиночку идти. Программа на зиму — учиться, жить в горе, со старыми знакомыми по возможности не встречаться».

Приехали к завтраку. Родственные разговоры, расспросы. День тихий и серый. Некоторая неразбериха после дороги.

А В ТРИ ЧАСА ДНЯ Я УЖЕ ЗВОНЮ У БЛОКОВСКИХ ДВЕРЕЙ.

Горничная спрашивает моё имя, уходит, возвращается, говорит, что дома нет, а будет в шесть часов. Я ДУМАЮ, ЧТО ОН ДОМА. Значит, надо ещё как-то подготовиться. С Офицерской иду в Исаакиевский собор, — это близко. Забиваюсь в самый тёмный угол. Передо мной проходят все мысли последнего времени, проверяю решения. Россия, её Блок, последние сроки — и надо всем ХРИСТОС, единый, искупающий всё.

В шесть часов опять звоню у его дверей. Да, дома, ждёт. Комнаты его на верхнем этаже. Окна выходят на запад. Шторы не задернуты. На умирающем багровом небе видны дуги белёсых и зеленоватых фонарей. Там уже порт, доки, корабли, Балтийское море. Комната тихая, тёмно-зелёная. Низкий зелёный абажур над письменным столом. Вещей мало. Два больших зелёных дивана. Большой письменный стол. Шкаф с книгами.

Он не изменился. В комнате, в угольном небе за окнами — тишина и молчание. Он говорит, что и в три часа был дома, но хотел, чтобы мы оба как-то подготовились к встрече, и поэтому дал ещё три часа сроку. Говорим мы медленно и скупно. Минутами о самом главном, минутами о внешних вещах. Он рассказывает, что теперь в литературном мире в моде общественность, добродетель и патриотизм. Что Мережковские и ещё кто-то устраивают патриотические чтения стихов в закрытых винных магазинах

Шитта, на углах больших улиц, для солдат и народа. Что его тоже зовут читать, потому что это гражданский долг. Он недоумеваает. У него чуть на-смешливая и печальная улыбка.

— Одни кровь льют, другие стихи читают. Наверное, не пойду, — всё это никому не нужно. И Брюсов сейчас говорит о добродетели. А вот Маковский оказался каким честным человеком. Они в «Аполлоне» издают к новому пятнадцатому году сборник патриотических стихов. Теперь и Соллогуб воспеваает барабаны. Северянин вопит: «Я ваш душка, ваш единственный, поведу вас на Берлин» Меня просили послать стихов. Послал. Кончаются они так: Будьте довольны жизнью своей, тише воды, ниже травы и мрак грядущих дней... И представьте, какая с их стороны честность, — вернули с извинениями, печатать не могут.

Потом мы с Блоком опять молчим.

— Хорошо когда окна на Запад. Весь закат принимаешь в них. Смотрите на огни.

Потом я рассказываю. Что предшествовало его прошлогоднему письму. Он удивлён.

— Ах, этот Штейнер. С этим давно кончено. На этом многое оборвалось. У меня его портрет остался, Андрей Белый прислал.

Он подымается, открывает шкаф, из папки вынимает большой портрет. Острые глаза, тонкий извилистый рот. Есть что-то общее с Вячеславом Ивановым, но всё резче, чернее, более сухое и волевое, менее лиричное. Блок улыбается.

— Хотите разорвём? — произносит он.

— Хочу!

Он аккуратно складывает портрет вдвое, проводит по сгибу ногтём. РВЁТ. ОПЯТЬ СКЛАДЫВАЕТ... РВЁТ. Портрет обращён в грудку бумажек размером в почтовую марку. Всю грудку сыпет в печь. Моя очередь говорить. Сначала рассказываю о чёрноморских бурях, о диких утках и бакланах. Потом о том, что надо сейчас всей России искать своего Христа и в НЁМ себя найти. Потом говорю о нём, о его пути поэта, о боли за него... Мы сидим в самых дальних углах комнаты. Он у стола, я на диване у двери. В сумраке по близорукости я его почти не вижу. Только тихий и усталый голос иногда прерывает меня, — значит, ОН тут. Да ещё весь воздух комнаты полон какого-то напряжённого внимания, — ОН слушает.

Поздно, надо уходить. Часов пять утра. Блок серьёзен и прост.

Завтра Вы опять приходите. И так каждый день, пока мы до чего-то не договоримся, пока не решим.

На улице дождь. Пустота. Быстро иду по сонному городу. Надо его весь пересечь. Господи, как огромен и страшен ТВОЙ мир и какую муку даёшь ТЫ. Твоим людям.

НА СЛЕДУЮЩИЙ ДЕНЬ ОПЯТЬ ИДУ К БЛОКУ.

У него опять такая же тишина.

И ТАК НАЧИНАЕТСЯ ИЗО ДНЯ В ДЕНЬ. Сейчас мне уже трудно различить, в какой раз, что было сказано. Да и по существу это был единый разговор, единая встреча, прерванная случайными внешними часами пребывания дома для сна, пищи, отдыха. Иногда разговор принимал простой, житейский характер. Он мне рассказывал о различных людях, об отношении к ним, о чужих стихах: — «Я вообще не очень люблю чужие стихи».

Однажды Блок заговорил о трагичности всяких людских отношений: «Они трагичны, потому что менее долговечны, чем человеческая жизнь. И человек знает, что, добиваясь их развития, добивается их смерти. И всё же ускоряет и ускоряет их ход. И легко заменить должный строй души, подменить его, легко дать дорогу страстям. Страсть и измена — близнецы, их нельзя разорвать. (И неожиданно заканчивает) — А теперь давайте топить печь».

Топка печи у Блока — священнодействие. Он приносит ровные берёзовые поленья. Огонь вспыхивает. Мы садимся против печи и молча смотрим. Сначала длинные, весёлые языки пламени маслянисто и ласково лижут сухую белёсую кору берёзы и потухающими лентами исчезают вверху. Потом дрова пылают. Мы смотрим и смотрим, молчим и молчим. Вот с лёгким серебристым звоном распадаются багровые угольки. Вот сноп искр с дымом вместе уносится ввысь. И медленно слагаются и вновь распадаются огненные письма, и опять бегут алые и чёрные знаки.

В мире тихо. Россия спит. За окнами зелёные дуги огней далёкого порта. На улицах молчаливая ночь. Изредка внизу на набережной реки Пряжки одинокие шаги прохожего. Угли догорают. И начинается наш самый ответственный разговор:

— КТО ВЫ, АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ?

Если Вы позовете, за Вами пойдут многие. Но было бы страшной ошибкой думать, что Вы вождь. Ничего, ничего у Вас нет такого, что бывает у вождя. Почему же пойдут? Вот и я пойду, куда угодно, до самого конца. Потому что сейчас в Вас будто мы все, и Вы символ всей нашей жизни. Даже всей России символ. Перед гибелью, перед смертью Россия сосредоточила на Вас все свои самые страшные лучи. И Вы за НЕЁ, во имя ЕЁ, как бы образом ЕЁ сгораете. Что мы можем? Что могу я, любя Вас? Потушить — не можем, а если и могли бы, права не имеем. Таково Ваше высокое избрание — гореть! Ничем, ничем помочь Вам нельзя.

Он слушает меня молча. Потом говорит:

— Я всё это принимаю, потому что знаю об этом давно. Только дайте срок. Так оно всё само собою и случится.

А у меня на душе от этих слов Блока всё смешивается и спутывается. Я знаю, что всё на волоске и над какой-то пропастью. Наконец всё становится ясным. Уже в передней, перед моим уходом говорим о последних подробностях... о каких не помню.

Он положил мне руки на плечи.

Он принимает моё соучастие.

Он предостерегает нас обоих... чтобы это всегда было именно так. Долго, долго ещё говорим. А за спокойными, уверенными словами мне чудится вдруг что-то неожиданное, новое и по-новому страшное. Я напрягаю слух: откуда опасность? Как отражать её?

* * *

На следующий день меня задержали дома.

Прихожу позднее обыкновенного. Александр Александрович, оказывается, ушёл. Вернётся поздно. Мне оставил письмо: «Простите меня. Мне сейчас весело и туманно. Ушёл бродить. На время надо ВСЁ кончить. А. Б.»

Дверь закрывается. Я спускаюсь этажом ниже. Останавливаюсь на площадке. Как же я уйду? Как я могу уйти? Подымаюсь назад. Стою долго у запертой двери. Потом решаюсь. Сажусь на верхней ступеньке. Я должна дождаться его, чтобы ещё раз что-то навсегда закрепить.

Идут не минуты, — идут часы. Уже далеко за полночь. Скоро, наверное, утро. Наконец долгий протяжный звонок внизу. Зажигается в пролёте свет. Слышу, — этаж за этажом кто-то подымается, тяжело дышит от быстрой ходьбы. Это Блок. Встаю навстречу.

— Я решила дождаться Вас, Александр Александрович.

Он не удивлён. Только говорит, что нехорошо вышло, потому что у соседей в квартире скарлатина. Как бы я домой не занесла.

Отворяет двери. Входим. Я начинаю сразу торопиться. Он слегка задерживает.

— Да, да, у меня просто никакого ответа нет сейчас. На душе пусто, туманно и весело, очень весело. Не знаю, может быть, оно и ненадолго. Но сейчас меня уносит куда-то. Я ни в чём не волен.

Я опять начинаю торопиться.

Александр Александрович неожиданно и застенчиво берёт меня за руку.

— Знаете, у меня к Вам есть просьба. Я хотел бы знать, что Вы часто, часто, почти каждый день проходите внизу под моими окнами. Только знать, что кто-то меня караулит, ограждает. Как пройдёте, так взгляните наверх. Это всё.

Я соглашаюсь. Быстро прощаюсь. **ПО СУЩЕСТВУ ПРОЩАЮСЬ НАВСЕГДА.**

Знаю, что в наших отношениях не играют роли пространство и время, но чувствую их очень мучительно.

Ухожу. Будто ещё новая тяжесть упала на плечи.

А в это время мрачней и мрачней, становилась петербургская ночь. Все уже и не только Блок, чуяли приближение конца. Одни думали, что конец будет, потому что Россией распоряжается Распутин, третьи, как

Блок, — может быть, и не имели никакого настоящего «потому что», а просто в ознаменование конца сами погибали медленно и неотвратно.

И, наконец, летом 1916 года последнее письмо от Блока: «Я теперь табельщик 13-ой дружины Земско-Городского Союза. На войне оказалось только скучно. О Георгии и Надежде, — скоро кончится их искание. Какой ад напряжения. А Ваша любовь,.. которая уже не ищет мне новых царств. Александр Блок».

С этим письмом в руках я бродила по берегу моря как потерянная. Будто это было свидетельство не только о смертельной болезни, но и о смерти. А я ничего не могу поделать. Потом ещё мысль: такова судьба, таков путь. Россия умирает, — как же мы смеем не гибнуть, не корчиться в судорогах вместе с ней?

СКОРО, СКОРО ПРОБЬЁТ ВЕЩЕЙ ЧАС, И РОССИЯ, КАК ОГРОМНЫЙ, ОСНАЩЁННЫЙ КОРАБЛЬ, ОТЧАЛИТ ОТ ЗЕМЛИ, В ЛЕДОВИТУЮ МЁРТВУЮ ВЕЧНОСТЬ.